

Л. ШЕСТОВ

Предисловие <к книге «Добро в учении гр. Толстого и Ф. Нитше. Философия и проповедь»>

В главе VII этой книги читатель найдет следующий отрывок из одного частного письма Белинского: «Если бы мне и удалось влезть на верхнюю ступень лестницы развития — я и там бы попросил вас отдать мне отчет во всех жертвах условий жизни и истории, во всех жертвах случайностей, суеверия, инквизиции Филиппа II и пр. и пр.; иначе я с верхней ступени бросаюсь вниз головой. Я не хочу счастья и даром, если не буду спокоен на счет каждого из моих братьев по крови. Говорят, что дисгармония есть условие гармонии: может быть, это очень выгодно и усладительно для меломанов, но уж, конечно, не для тех, которым суждено выразить своею участью идею дисгармонии»¹. Эти строки приведены мною отнюдь не для того, чтобы поддержать высказываемые мною мысли авторитетом знаменитого писателя. Наоборот — для меня ясно, что авторитет Белинского-писателя не за, а против меня. Чтоб сослаться на него, мне пришлось обратиться не к его сочинениям, а к переписке. Но и это может показаться странным, если припомнить, что приводимый здесь отрывок уже не раз цитировался в русской литературе писателями всевозможнейших направлений. Что же это за загадочные слова, на которых сошлись люди самых различных убеждений? Быть может, заключающаяся в них мысль слишком обща и неопределенна, т. е. поддается многообразным толкованиям? На мой взгляд — нет. На мой взгляд, едва ли во всем, что писал когда-либо Белинский, можно найти еще одно место, в котором ему бы удалось яснее и определеннее выразиться. И все-таки, несмотря на ясный смысл ничем не затемненных и простых выражений, различные толкования этого письма оказались возможными. Никто из цитировавших этот отрывок не заметил даже, что высказанная там мысль находится в самом резком, вопиющем противоречии со всем тем, что говорил Белинский в своих критических статьях. Это письмо истолковывалось в том же смысле, в каком истолковывалась его горячая литературная проповедь, даже его письмо к Гоголю. И здесь, как во всем, что исходило от Белинского, хотели видеть только великого идеалиста, возвышающего свой властный голос в защиту гуманности, человечности, добра. Он отвергает фило-

софию и Гегеля ввиду того, что они предлагают ему удовлетвориться по поводу гибели сотен Иванов совершенством одного Петра! В этой требовательности хотели видеть и видели лишь своеобразное выражение запросов справедливой и гуманной человеческой души. По этому самому прощалась, даже не замечалась парадоксальная, в сущности нелепая, возмутительно нелепая форма, в которую Белинский облек свою мысль. И в самом деле, какое удовлетворение может дать Гегель Белинскому за каждую жертву истории, Филиппа II и т. п.? Если Филипп II сжег на костре кучу еретиков, то требовать теперь за них отчета — бессмысленно. Они изжарились, и их дело безвозвратно, непоправимо, навсегда окончено. Тут уже никакой Гегель не поможет, и заявлять протесты, негодовать, требовать отчета от всей вселенной по поводу замученных и безвременно погибших людей, очевидно, уже поздно. Нужно либо прямо отвернуться от всех этих печальных историй, либо, если хочешь, чтобы в твою теорию необходимо вошли все существенные элементы, из которых складывается человеческая жизнь, — придумать что-либо вроде общей гармонии, т. е. круговой поруки человечества, и засчитывать в пассив Ивана актив Петра, либо совсем бросить всякие подсчитывания итогов жизни отдельных людей и, переименовав раз навсегда человека в «индивидуумы», признать, что высшая цель — в каком-либо общем принципе и что этому принципу «индивидуумы» должны быть приносимы в жертву. Тогда пафос окончится и начнется философия, настоящая, всеобъемлющая философия, в которой вполне точно и определенно будет выяснено, почему Филипп и история терзали и терзают людей, и ежели что-нибудь останется проблематическим, то разве несколько вопросов теории познания, о пространстве и времени, причинности и т. д. Но с этими вопросами, как известно, время терпит. Если для них еще не подысканы настоящие объяснения — можно пока обойтись гипотезами. Ведь и возникли они, как и вся философия, если верить Аристотелю, $\delta\iota\alpha\ \tau\omicron\ \upsilon\delta\alpha\mu\acute{\alpha}\xi\epsilon\iota\nu$ *. Ну, а чтобы удовлетворить истекающей из удивления любознательности, вовсе уже не так непременно нужно найти «истину». Скорей наоборот: «Истина», в сущности, не нужна. Если бы она оказалась внезапно отысканной — это был бы очень неприятный сюрприз. По крайней мере, Лессинг так утверждал (а он знал, что говорил), когда просил Бога, чтоб Он истину оставил при себе, а человеку сохранил бы его способность заблуждаться и искать. Но Белинский, вечный ученик европейских учителей, очевидно, наедине с собой или в непредназначенной для публики частной беседе думал и говорил иначе. Он уже

* Из удивления.

не хотел одних исканий — он требовал всей, полной истины и горячо протестовал против традиций своих учителей.

Это был опасный протест. Опасный потому, что он грозил прежде всего самому «идеализму» Белинского. Ибо в чем сущность и психологическая основа идеализма? Человек верит, что все его сомнения, вопросы, искания — только дело времени. Все это уже давно окончательно и очень хорошо порешено, нужно только удосужиться или умственно вырасти, чтоб обстоятельно разъяснить и себе то, что другие давно знают. Оттого-то естественной почвой, на которой удачнее всего произрастает идеализм, оказывается молодая культура, если ей приходится развиваться в соседстве с более зрелой цивилизацией. Даже в семьях младшие члены обыкновенно выходят «идеалистами», принимающими на веру «убеждения» старших, уже больше знающих, более опытных, более искусных во всем и более совершенных братьев. Каждое слово взрослого человека представляется таинственно содержательным ребенку. Чем непонятней и недоступней оно, тем более соблазняет оно юный ум, который видит в нем источник силы и превосходства старшего. Молодая Россия долгое время стояла именно в таком отношении к Западу. Каждое приходившее оттуда слово казалось священным. Этим, главным образом, обуславливается идеалистическое направление нашей литературы вообще и Белинского — в частности. Старший Запад был несомненно умнее, богаче, красивее нас. И мы полагали, что причина тому — его знание, его опыт. Мы верили, что есть у него «слово», которым он разрешит все. И этого слова мы искали в его науке, которую начали обоготворять много раньше, чем узнали ее. Как ужасно должно было быть разочарование каждого идеалиста после того, как при более основательном рассмотрении своей святыни он убеждался, что она — не «истина», а «искание истины»! В этом разочаровании и смысл обсуждаемого здесь письма Белинского. Отсюда его странные, невыполнимые требования к Гегелю. Если бы Гегель прочел это письмо, он бы назвал Белинского дикарем. Требовать от философии, чтобы она дала отчет за каждую жертву истории! Да разве это ее дело?! И, затем, разве вообще можно, должно, нужно являться с такого рода требованиями к кому бы то ни было?! Правда, Гегель утверждал, что действительность разумна. Но не вина Гегеля, если Белинский истолковывал его слова в том смысле, что «правде» гарантирована победа на земле. Совсем не то. Гегель ведь и сам был идеалистом. Немцы, как и русские, тоже имели свой Запад и научились в свое время верить в идеи. Только они были основательнее, прочнее в своей вере — это уже дело характера и национальных особенностей — и потому не иначе подходили к своей

святыне, как с преклоненными коленями и ничего от нее не требовали. «Действительность разумна» у Гегеля значило только, что наука должна быть поставлена впереди всего и что, следовательно, жизнь во что бы то ни стало должна быть изображенной как вполне соответствующая требованиям разума. Пусть на самом деле этого нет — идеалист об этом не заботится — главное, чтобы с кафедры, из книг эта истина всегда возвещалась. Немецкие идеалисты как нельзя более понимали своих учителей. В искусствах, в науках (даже в общественных и исторических) действительность обрабатывалась таким образом, что она постоянно свидетельствовала во славу человеческого разума, который и до сих пор в Германии продолжает гордиться своими *argüri*. Идеализм торжествовал и до сих пор продолжает торжествовать в этой удивительной стране. И вдруг на сцену является Белинский и требует отчета у вселенной за каждую жертву истории! За каждую — слышите? Он не хочет уступить за все мировые гармонии ни единого человека, обыкновенного, среднего, простого человека, которых, как известно, историки и философы считают миллионами, в качестве пушечного мяса прогресса. Это уже не гуманность и не идеализм, а что-то иное. Немецкие историки и философы тоже гуманны. После того, когда дела прогресса улажены, они очень охотно хлопочут о жертвах истории, — но это все, что требуется, что может требоваться гуманностью. Еще, пожалуй, от них можно добыть обещания насчет будущего: как известно, наука обещает, что в будущем жертв уже не понадобится и когда-нибудь да прекратится то нелепое движение истории, при котором условием успеха одного человека являются целые гекатомбы из других людей. Это все, чем располагает наука в утешение жертвам. В будущем обещается обязательное счастье решительно всех людей. Белинский это знает очень хорошо. Он сам это рассказывает — и как красноречиво — в своих многочисленных статьях; но наедине с собой он возмущается собственным пафосом. Он не только не хочет отдавать настоящих, живых людей в жертву тем людям, которые имеют народиться через сто или тысячу лет, — он вспоминает давно загубленных в пытках людей далекого прошлого и требует за них удовлетворения. Что это не простая гуманность — надеюсь, более чем очевидно. Гуманность должна смягчать, успокаивать, примирять людей на определенной деятельности в пользу ближнего. Короче, гуманность — отвечает, дает ответы на вопросы. Белинский же спрашивает, и так спрашивает, что его вопрос грозит сбить с толку самых верующих идеалистов.

Ибо если дозволительно так спрашивать, то может статься, даже почти наверное, что ответить совсем и не придется или что за ответом нужно будет идти в такие области, которых идеализм боится больше,

чем самых ужасных пустынь. Здесь обычная формула идеализма может получить обратный смысл. «Действительность разумна» придется истолковывать не так, что ее следует сдабривать и обряжать до тех пор, пока «разум» не найдет ее устроенной по своим законам, а так, что «разуму» придется принять от нее взамен старых а priori новые а posteriori. Понимаете ли вы, какой отсюда выход? Может быть, что если в этой действительности не найдется гуманности, иными словами, если не с кого будет требовать отчета за жертвы Филиппа, то разуму совсем придется отказаться от своих великодушных принципов и отыскать себе иной закон... И вообще, если действительность разумна, если от нее нельзя отказываться, если ее нельзя отрицать, если ее нужно принимать, уважать, то не есть ли выход отсюда — квиетизм, то страшное слово, которым до сих пор отпугивались от разных теорий самые смелые люди?

Всего этого «неистовый Виссарион» не рассказывает своим читателям. Все это держится под строжайшей тайной в лаборатории писательской души. В статьях же «неистовство» претворяется в смелую, живую, светлую веру, в веру в будущее, в лучшее будущее, которое приведет когда-нибудь с собой наука.

Сомнение оставляются дома и там забываются за преферансом. Публике знать всего этого не нужно. Не нужно ей знать и того, что учитель пишет свои статьи за один почти присест, чуть ли не в порыве самозабвения. Вообще ей не следует слишком много знать. Ей требуются идеалы, и тот, кто хочет служить ей, обязан во что бы то ни стало поставлять их. Старая история! Писатель подобен раненой тигрице, прибежавшей в свое логовище к детенышам. У нее стрела в спине, а она должна кормить своим молоком беспомощные существа, которым дела нет до ее роковой раны. И у Белинского была такая рана — о ней свидетельствует и его «неистовство», и приведенное письмо, и преферанс, но тем не менее до конца жизни он бесценно стоял на своем посту и делал свое дело.

В России существовало крепостное право — не только в своде законов, но и в сердцах людей; в России было еще многое другое в том же роде. Ей нужен был публицист, солдат. Белинскому некогда было отрываться от своей службы, ему нельзя было думать о своей стреле. И он сам всегда готов был бороться с теми, кто не приходил к нему активно на помощь.

В этом смысле я и сказал, что авторитет Белинского-писателя не за, а против меня. Но всему приходит свой черед. Быть может, в данный момент тактика Белинского была бы в такой же мере неуместна, в какой она была законна и необходима в его время. Быть может, теперь молчать о том, о чем молчал он, было бы не подвигом,

а преступлением. Хотя мы и не знаем до сих пор, есть ли дерево познания также и дерево жизни, но для нас уже выбора нет. Мы вкусили от плодов первого и теперь — хотим не хотим — нам приходится приподнимать завесу над тайной, которую так тщательно скрывал Белинский, и говорить публично о том, о чем он говорил только наедине со своими близкими друзьями.



М. О. ГЕРШЕНЗОН

<Белинский и Гоголь. Раскол в русском обществе>

<Фрагменты>

Благодаря стараниям наших публицистов-историков, в обществе укоренилось такое искаженное представление о «Переписке с друзьями», что даже у нас, где почти все прошлое общественной мысли обезображено в угоду политической тенденции, судьба этой книги остается беспримерной. Стоит только самому прочесть ее с некоторым вниманием, и туман легенды рассеивается без следа. Уже первое, самое общее наблюдение поражает полной неожиданностью.

По представлению публики основным пунктом разногласия между Гоголем и Белинским являлся вопрос об отношении личности к обществу: в то время как Белинский, и с ним вся передовая интеллигенция, видели высшее призвание человека в служении общему благу, Гоголь-де провозгласил прямо противоположный идеал — заботы о личном совершенствовании и личном спасении верою. Ничуть не бывало; такого разногласия между Гоголем и Белинским нет и в помине; напротив, в этом отношении они стоят на *одной* плоскости. На русском языке, может быть, нет другого произведения, так беззаветно, так целостно, до малейших оттенков мысли и слова, проникнутого духом общественности, как «Выбранные места из переписки с друзьями». Вся эта книга — сплошной и страстный призыв к личности — отдать все силы на служение общему благу; другого содержания в ней нет, и все, о чем она говорит, строго подчинено этой главной мысли. Нельзя представить себе ничего